Максимович Желько

АННА, КРЫШКА С НОМЕРОМ СЕМЬ



Желько Максимович

Анна, Крышка с номером семь

https://litres.ru/74854017
SelfPub; 2026

Аннотация

Постапокалиптический роман в жанре научно-фантастической драмы с элементами роуд-стори. Текст совмещает хроникальное путешествия с эпистолярным наследием погибшей цивилизации. Это история о матери и дочери, идущих через мёртвый мир к истине, которую мать героини спрятала за пятнадцать лет до Катастрофы. За пятнадцать секторов, за семью крышками, за каждой из которых — своя правда, своя цена и свой урок.

Желько Максимович
Анна, Крышка
с номером семь

Сектор 4. Пепельный квартал

I. Сон, который не был сном

Шестая неделя пути. Или седьмая — счёт сбился где-то между вторым и третьим сектором, когда песчаная буря заперла их в дренажной трубе на сорок часов, и время превратилось в серую кашу, в которой не было ни восходов, ни закатов, только дыхание — её и Катино — и вой ветра снаружи.

Катя спала. Анна смотрела на дочь и думала о том, что сон ребёнка в Пустоши — единственное, что ещё имеет вес. Всё остальное — пепел, пыль, обломки старого мира — утратило плотность. Дома, которые они проходили, казались нарисованными на грязном холсте: тронешь — рассыплются. Но дыхание Кати, размеренное, с лёгким присвистом (искривлённая носовая перегородка — результат первой зимы в убежище, когда не было врача, способного вправить хрящ), — это дыхание было реальным. Самым реальным, что у неё осталось.

Она поправила одеяло — кусок термо-ткани, найденный на третьей неделе в брошенном конвое «Волт-Тека», — и выскользнула из спального мешка.

Библиотека стояла на окраине квартала, который на довоенных картах обозначался как «Жилмассив имени Льва Толстого». Анна помнила эти карты — мать показывала ей, когда Анне было пять или шесть: бумажные, с выцветшими синими линиями улиц, пахнущие плесенью и старым клеем. Мать раскладывала их на кухонном столе, придавливая углы чашками с остывшим чаем, и говорила: «Смотри, Аня. Вот здесь мы жили. А здесь — библиотека, где я работала. Улица называлась Пепельной — смешно, правда? — задолго до того, как всё стало пеплом».

Теперь улица оправдывала название. Серый налёт покрывал всё: мостовую, остовы машин, деревья, которые уже нельзя было назвать деревьями — скорее, их скульптурные слепки из золы. Анна шла по этой улице одна, оставив Катю в подвале бывшей аптеки — единственном месте на три квартала, где сохранились стальные ставни и неповреждённая дверь. «Я вернусь через час. Если не вернусь — иди на север, к реке. Помнишь карту?» Катя помнила. Она всегда помнила. Память у неё была цепкая, недетская — ещё одно последствие мира, в котором забывчивость убивает.

Утро только начиналось. Свет сочился сквозь пелену облаков — не жёлтый, не золотой, а какой-то разбавленный, будто солнце пыталось пробиться сквозь несколько слоёв грязной марли. Анна шла, и пепел хрустел под подошвами её ботинок — звук, к которому она так и не привыкла, хотя слышала его каждый день уже шесть недель. Звук, похожий на хруст костей. Или замёрзшей травы. Или тонкого льда на лужах — были такие лужи в её детстве, до Катастрофы, когда осень сменялась зимой и по утрам лужи покрывались корочкой, и наступать на них было особым детским удовольствием.

Теперь удовольствий не было. Была цель.

Крышка. Четвёртая.

Мать спрятала их — пять интерфейсных ключей, вмонтированных в стандартные крышки довоенных распределительных щитов, — в разных точках города. Анна нашла первые три по указаниям, оставленным матерью перед смертью: первая — в их старом доме, под половицей в детской (та половица с сучком, похожим на глаз, — Анна помнила её, помнила, как в six лет разглядывала этот сучок перед сном, и он казался ей живым, наблюдающим); вторая — в бункере под школой, где мать работала последние два года; третья

— в водонапорной башне на восточной окраине, куда мать водила её подростком — «смотреть на город сверху», — и где они ели бутерброды с колбасой, сидя на ржавой балке, и мать рассказывала о звёздах. Звёзды тогда ещё были видны. Теперь небо затянуто всегда — не облаками, а чем-то иным, что метеорологи «Волт-Тека» называли «аэрозольным экраном», а выжившие называли просто «серым».

Четвёртая крышка должна была находиться в Пепельном квартале — так мать написала в последней записи, которую Анна расшифровала из файла в Пип-Бое. «Четвёртая — где книги. Ты поймёшь». Анна не понимала, пока не увидела библиотеку.

II. Библиотека

Она возвышалась над кварталом — четырёхэтажное здание из красного кирпича, чудом уцелевшее в пожаре, который уничтожил всё вокруг. Огонь обошёл библиотеку стороной — или, возможно, ветер в день Катастрофы дул так, что пламя ушло на запад, оставив книги нетронутыми. Ирония — или точность законов физики, — которую Анна оценила лишь много позже.

Фасад здания носил следы времени: штукатурка отслоилась пластами, обнажив кладку, окна зияли пустыми глаз-

ницами (стёкла выбило ударной волной — той самой, что пришла через сорок секунд после вспышки и которую Анна помнила как самый громкий звук в своей жизни), массивные дубовые двери покосились, но устояли. Над входом сохранилась вывеска — бронзовые буквы, потемневшие, но читаемые: «ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 4 ИМЕНИ Л. Н. ТОЛСТОГО».

Анна остановилась перед дверью. Она вдруг поняла, что боится. Не радиации, не мутантов, не мародёров — она боялась того, что найдёт внутри. Точнее — того, кого.

Она знала, что мать работала здесь. Знала по рассказам: «Аня, у нас был отдел редкой книги в подвале — представляешь, в подвале, где трубы и крысы, а мы хранили прижизненные издания...» Но мать никогда не говорила, что именно она делала в библиотеке. Анна всегда считала, что мать была библиотекарем. Теперь она начинала сомневаться.

Дверь поддалась после третьего толчка. Петли заскрежетали — звук разнёсся по пустому вестибюлю, отразился от стен, вернулся искажённым эхом. Анна замерла, прислушиваясь. Тишина. Только ветер гуляет где-то на верхних этажах, посвистывая в разбитых окнах.

Вестибюль был огромен. Пол — мраморная крошка, те-

перь покрытая слоем серой пыли в палец толщиной. Стойка регистрации — массивная, из тёмного дерева, — уцелела. За ней — ряды каталожных ящиков, выдвинутых, опустошённых. Карточки валялись на полу, перемешанные с пылью и обломками штукатурки. Анна наклонилась, подняла одну. «Толстой Л. Н. Война и мир. Том 2. Инв. № 45672-Б». Почерк — библиотекарский, аккуратный, с наклоном влево, — был незнаком.

Она двинулась вглубь. Главный читальный зал находился на первом этаже — анфилада из трёх помещений, соединённых широкими арками. Стеллажи устояли, но книги с них сорвало — той же ударной волной, что выбила окна. Они лежали на полу многолетними сугробами: распухшие от влаги, покрытые плесенью, рассыпающиеся в труху при малейшем прикосновении. Запах стоял густой, сладковато-гнилостный — запах умирающей бумаги, смешанный с чем-то химическим, похожим на формальдегид.

Анна прошла через зал, стараясь не наступать на книги. Это было глупо — вокруг на многие километры не осталось ничего живого, и мёртвые книги никому не были нужны, — но она не могла заставить себя идти по ним. Воспитание матери: «Книга — это больше, чем бумага, Аня. Книга — это голос, который продолжает звучать после смерти того, кто его записал». Анна тогда не понимала. Теперь понимала

слишком хорошо.

Лестница в подвал находилась в дальнем конце читального зала — узкая, винтовая, с чугунными ступенями. Анна достала фонарь — ручной, динамо-машина, никаких батареек, — и начала спуск.

III. Подвал

Воздух в подвале был другим. Холоднее. Плотнее. Он пах не плесенью и не гнилью — он пах металлом и озоном, как воздух после грозы. Или как воздух в серверной.

Анна поняла это сразу — ещё до того, как луч фонаря выхватил из темноты ряды металлических стоек. Серверная «Волт-Тека» — стандартная модель «Убежище-М», рассчитанная на автономную работу в течение пятидесяти лет. Мать говорила о ней в голограмме, но Анна не ожидала увидеть её здесь — в подвале районной библиотеки, среди труб и старой проводки.

Серверы молчали. Индикаторные лампы не горели — питание отсутствовало. Но сами стойки сохранились идеально: герметичные, с двойными стенками, заполненными инертным газом. «Волт-Тек» строил на совесть. Или, возможно, просто не успел построить плохо — их контракт с правитель-

ством оборвался в день Катастрофы.

Анна провела лучом по стойкам, читая маркировку. «ВТ-СХ-077. ПРОТОКОЛ: ЗИМНИЙ САД. ДОПУСК: УРОВЕНЬ 5». Ниже — предупреждающая наклейка: «ВНИМАНИЕ: БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. КОНТАКТ С НОСИТЕЛЕМ ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОМ КОСТЮМЕ УРОВНЯ BSL-4».

Анна отдёрнула руку. BSL-4 — четвёртый, высший уровень биологической защиты. Такой использовался для работы с вирусами Эбола, Марбург, с возбудителями геморрагических лихорадок. Что делала такая маркировка в подвале библиотеки?

Она заставила себя отвести взгляд от серверов. Крышка. Сначала — крышка. Разобраться с остальным можно будет позже, когда Катя будет в безопасности.

Подвал библиотеки представлял собой лабиринт из нескольких помещений, соединённых короткими коридорами. Серверная занимала центральный зал; из него расходились ответвления — хранилища, котельная, вентиляционная камера, туалеты для персонала. Анна методично обследовала каждое помещение, сверяясь с планом, который мать загрузила в Пип-Бой.

Хранилище редкой книги находилось в самом дальнем конце подвала. Дверь в него была стальной, герметичной — такая же, как двери в бомбоубежищах. Анна налегла на штурвал замка. Механизм не поддавался — смазка высохла, металл прихватило коррозией. Она упёрлась ногами в пол, навалилась всем весом. Штурвал скрипнул, дрогнул, пошёл. Анна крутила его, считая обороты — двенадцать, тринадцать, четырнадцать, — пока замок не щёлкнул и дверь не отошла на сантиметр.

Из щели пахнуло холодом. Сухим, стерильным холодом — в хранилище работала автономная система климат-контроля, и она, в отличие от серверов, ещё функционировала. Анна потянула дверь на себя. Та открылась — тяжело, с натужным скрипом, — и Анна вошла.

IV. Библиотекарь

Хранилище было небольшим — метров двадцать в длину, десять в ширину. Вдоль стен тянулись стеллажи с герметичными боксами, в которых покоились книги. Прижизненные издания, рукописи, инкунабулы — сокровища, которые библиотека успела эвакуировать в подвал до Катастрофы. Или, возможно, они хранились здесь всегда — мать говорила, что коллекция формировалась десятилетиями.

Но внимание Анны привлекло не это.

В центре хранилища, на полу, лежал человек.

Точнее — то, что от него осталось.

Тело мумифицировалось идеально — сухой холод и отсутствие бактерий сделали своё дело. Оно лежало на спине, вытянувшись во весь рост, руки сложены на груди. Вернее — одна рука на груди, вторая вытянута вперёд, пальцы сжимают книгу. Книгу в тёмно-коричневом переплёте с золотым тиснением.

Анна подошла ближе. Опустилась на корточки.

Лицо библиотекаря — а это был библиотекарь, судя по бейджику на лацкане истлевшего пиджака, — сохранилось плохо. Кожа высохла, натянулась на костях, придав лицу выражение напряжённого ожидания. Глазницы были пусты. Но поза, жест — рука, протягивающая книгу, — были полны такого отчаянного смысла, что Анна замерла.

Она осторожно, стараясь не повредить мумифицированные пальцы, высвободила книгу. Обложка уцелела — тёмно-коричневая кожа, золотое тиснение: «Л. Н. Толстой. Ан-

на Каренина. Том I. Издание 1936 года». Страницы внутри обратились в серую пыль — перепад температур, время, радиация сделали бумагу хрупкой, как крылья мёртвой бабочки. Но обложка держалась.

«Анна Каренина».

Мать назвала её в честь этой книги.

Анна помнила это телом — те ощущения, которые не становятся воспоминаниями в привычном смысле слова, а живут где-то в мышцах, в диафрагме, в том, как сжимается горло при определённых словах. Горячий стыд детства. Школьный класс, третий или четвёртый год обучения — до Катастрофы ещё несколько лет, мир ещё цел, — и учительница, читающая список фамилий. «Петрова Анна...» Одноклассники оборачиваются — не со злостью, с обычным детским любопытством. «А почему у тебя такое имя? Старомодное. Как у бабушки». Она не могла объяснить. Мать сказала: «Ты поймёшь, когда вырастешь». Анна выросла — Катастрофа сделала её взрослой в четырнадцать лет, — но так и не поняла.

Теперь библиотекарь лежал перед ней, и книга в его руках была посланием, которого он не мог прочесть, потому что адресат ещё не пришёл. Он ждал двадцать лет — ждал имен-

но её, Анну, — и умер, сжимая книгу, которую когда-то, возможно, держала в руках её мать.

Анна аккуратно положила книгу на пол. Внутрь обложки был вшит конверт из плотного пластика — такие использовали для хранения микрофильмов. Конверт не пострадал. Анна вскрыла его ногтем.

Внутри лежала крышка. Четвёртая.

Металл был холодным — температура хранилища держалась около пяти-семи градусов. Анна повертела крышку в пальцах: стандартный пластмассовый диск диаметром около пяти сантиметров, с одной стороны — контактная группа (четырнадцать позолоченных штырьков, расположенных по спирали), с другой — гравировка: «VT-KL-S4». «Волт-Тек». Ключ-Локатор. Сектор 4.

Она достала Пип-Бой — массивное устройство, закреплённое на левом предплечье, поцарапанное, с треснувшим по углу дисплеем, но всё ещё работающее. Мать собрала его сама — из компонентов, добытых в руинах исследовательского центра «Волт-Тека», — и подарила Анне за месяц до смерти. «Держи. Здесь всё, что я знаю. Всё, что я помню. Когда меня не станет — он будет говорить со мной».

Анна отщёлкнула защитную крышку разъёма на нижнем торце Пип-Боя. Вставила ключ в гнездо. Крышка вошла идеально — с тихим, сухим щелчком, похожим на звук взводимого курка.

Экран мигнул. Пошла загрузка — строки кода, бегущие по чёрному фону, слишком быстро, чтобы их можно было прочесть. Затем — статика, белый шум, и вдруг:

Голограмма.

V. Голос

Из проектора Пип-Боя — крошечной линзы, вмонтированной в верхний торец устройства, — вырвался луч света. Он задрожал в пыльном воздухе хранилища, сгустился, приобрёл очертания.

Мать.

Она была моложе, чем Анна её помнила. Гораздо моложе. На голограмме ей было, вероятно, около тридцати — столько же, сколько сейчас Анне. Гладкая кожа, тёмные волосы, собранные в небрежный пучок (Анна помнила этот пучок — мать всегда ходила с ним, и вечно из него выбивались пряди), лёгкая улыбка, которую Анна помнила с четырёх лет:

чуть кривоватая, будто мать знала что-то смешное и не могла рассказать. Глаза — карие, с золотистыми искрами (у Анны были такие же, Катя унаследовала их) — смотрели прямо в камеру, и у Анны перехватило дыхание.

Голограмма заговорила. Голос матери — низкий, с хрипотцой (она много курила до рождения Анны, и связки так и не восстановились до конца), — заполнил хранилище:

«Аня, если ты это смотришь — ты добралась до квартала Толстого. До библиотеки. До хранилища. Я знаю, ты найдёшь дорогу — ты всегда была упрямой. В меня.»

Пауза. Мать на голограмме отвела взгляд — будто задумалась на секунду, подбирая слова.

«Ты, наверное, уже видела серверы в главном зале. Не трогай их. Данные о протоколе „Зимний Сад“ стёрты физически — я сама уничтожила носители в две тысячи семьдесят втором, когда они начали... ладно, это долгая история. Но я сохранила копию. Полную. Третья крышка — та, что в водонапорной башне, — содержит ключ дешифровки. Когда соберёшь все пять, Пип-Бой расшифрует файлы автоматически. Ты поймёшь.»

Она снова улыбнулась — на этот раз шире.

«Ты поймёшь, почему мы здесь. Почему мы — я, ты, твой отец — оказались в этом городе. Почему „Волт-Тек“ построил убежище именно здесь, а не в столице. Почему Катастрофа началась не со взрыва, а с...»

Голограмма мигнула. Сигнал прервался на долю секунды — помехи, статика, — но восстановился. Мать на голограмме уже не улыбалась.

«Аня. Протокол „Зимний Сад“ — это не оружие. Не вирус. Не эксперимент по контролю над сознанием, как думали некоторые. Это... консервация. Понимаешь? Мы хотели сохранить не власть, не знание, не технологии. Мы хотели сохранить людей. Определённых людей. Тех, кто должен был пережить зиму — долгую зиму после Катастрофы, — и возродить всё заново. Ты — одна из них. Катя...»

Снова помехи. На этот раз — длиннее. Изображение рассыпалось на пиксели, собралось заново. Мать на голограмме смотрела уже не в камеру — она смотрела куда-то в сторону, на что-то, чего Анна не могла видеть.

«Мне нужно идти. Они нашли серверную. Я... Прости меня, Аня. За всё. За то, что не рассказала тебе раньше. За то, что оставила тебе это — эти поиски, эти головоломки. Я не

могла иначе. Если бы я рассказала тебе всё сразу — ты бы не выжила. Знание — тоже оружие, и оно ранит того, кто его носит, если он не готов.»

Она повернулась к камере в последний раз.

«Четвёртая крышка. Ты нашла её там, где книги. В этом есть... симметрия. Когда ты родилась, я держала в руках именно эту книгу — „Анну Каренину“, издание тридцать шестого года, из этого самого хранилища. Я читала её вслух, пока ждала схваток. Толстой писал о женщине, которую раздавил мир, не принявший её выбора. Я хотела, чтобы твой мир был другим. Таким, где выбор женщины не приводит к поезду.»

Голограмма начала угасать. Последние слова:

«Пятая крышка — в Убежище. В нашем Убежище. Ты знаешь где. Береги Катю. Она...»

Конец записи.

Свет погас. Хранилище снова погрузилось в темноту — только луч фонаря метался по стеллажам, потому что рука Анны дрожала.

VI. Катя

Она не помнила, как выбралась из подвала. Не помнила, как прошла через читальный зал, через вестибюль, через выбитые двери. Сознание зафиксировало только переход: вот она в хранилище, рядом с мумией библиотекаря и голограммой матери, — а вот она уже на улице, и пепел хрустит под ногами, и светает по-настоящему, и небо из грязно-серого становится грязно-белым.

Крышка лежала в кармане куртки — тяжёлая, как будто весила больше, чем должна. Анна нащупывала её пальцами снова и снова, проверяя, на месте ли. Глупый жест — положила ведь только что, никуда она не денется, — но Анна не могла остановиться.

Она вернулась в подвал аптеки через сорок минут после того, как ушла. Катя не спала. Она сидела на спальном мешке, скрестив ноги, и перебирала содержимое аптечки — ампулы, бинты, шприц-тюбики с антидотом, — сортируя их по какому-то своему, детскому принципу. Возможно, по цвету. Возможно, по размеру. Возможно, по степени важности — Катя интуитивно разбиралась в лекарствах лучше, чем Анна, хотя никто её этому не учил.

— Ты рано, — сказала Катя, не поднимая глаз. — Я ду-

мала, тебя не будет два часа.

— Я нашла, — ответила Анна.

Катя подняла голову. Серые глаза — пепельные глаза, глаза этого нового мира, хотя сама Катя родилась за три года до Катастрофы и ещё помнила цвета, траву, небо без серой пелены, — смотрели на Анну с тем выражением, которое появлялось у неё всегда, когда речь заходила о поисках. Не страх. Не любопытство. Ожидание. Как будто она знала — точно знала, — что мать ищет не просто какие-то железки, а что-то, что изменит их жизнь.

Анна села рядом. Достала крышку, показала. Катя взяла её, повертела в пальцах — маленьких, ловких, с обломанными ногтями (стричь было нечем, а грызть Катя начала на третьей неделе пути, когда кончилась еда и начался голод).

— Четвёртая? — спросила Катя.

— Да.

— Осталась ещё одна.

— Да.

Катя кивнула — коротко, по-взрослому, — и вернула крышку. Потом снова занялась аптечкой.

Анна смотрела на дочь и думала о том, что сказала мать на голограмме. «Береги Катю. Она...» Что — «она»? В чём особенность Кати? Почему мать запнулась именно на этом слове? И почему — Анна только сейчас это осознала — мать знала о Кате? На голограмме, записанной двадцать лет назад, мать говорила о внучке так, будто знала её. Знала, что она будет. Знала имя. Знала, что она — часть протокола «Зимний Сад».

Что это за протокол такой, который предсказывает рождение ещё не зачатых детей?

Анна понимала, что ответ ей не понравится. Она просто ещё не была готова его услышать.

VII. Зимний Сад

Четырнадцать лет назад. Первая зима после Катастрофы.

Они жили в убежище — в том самом, которое мать упомянула на голограмме. Убежище № 17, тип «Колыбель», рассчитанное на пятьсот человек, но заселённое лишь на треть: Катастрофа случилась внезапно, и плановая эваку-

ация провалилась. Двери заблокировали вручную — мать и ещё несколько инженеров «Волт-Тека» успели запустить протокол герметизации за четыре минуты до ударной волны. Анна помнила эти четыре минуты: сирены, бегущие люди, мать, которая тащила её за руку (Анне было четырнадцать, она спотыкалась, падала, мать поднимала её и тащила дальше), и голос из громкоговорителей — спокойный, почти скучающий: «Внимание. Запущен протокол „Колыбель“. Всему персоналу занять места согласно расписанию...»

Отец не успел. Он был в городе, в противоположном конце, и его не успели. Анна долго не могла принять этого — не могла принять, что мать не бросилась его искать, не побежала через город под сиренами, а вместо этого спокойно, методично, как машина, запускала протоколы и закрывала двери. Она спросила об этом — через месяц, когда первый шок прошёл и на смену ему пришла тупая, ноющая боль. Мать ответила: «Я выбирала между ним и тобой. Я выбрала тебя. И я сделала бы это снова». Анна тогда возненавидела её за эти слова. Сейчас — сейчас она понимала.

В убежище была школа. Точнее — учебный класс, переоборудованный из складского помещения: три ряда столов, доска, проектор. Математика, физика, биология, литература — стандартная программа, адаптированная под новые реалии. Анна училась хорошо — не из прилежания, а из потреб-

ности занять мозг чем-то, кроме воспоминаний.

И был ещё один предмет. Его преподавала мать — раз в неделю, по вечерам, только для избранной группы. «Прикладная генетика» — так он назывался в расписании, но на деле это была не генетика. Анна поняла это позже, восстановив в памяти отдельные фрагменты.

Мать говорила о кодах. О том, что человеческий геном — это не просто последовательность нуклеотидов, а текст, и этот текст можно читать, редактировать, сохранять. «Представьте себе библиотеку, — говорила она, расхаживая перед доской. — Огромную библиотеку, в которой каждая книга — это человек. Книги горят. Пожары случаются. Но что, если мы можем сохранить не книги — книги всё равно сгорят, — а читателей? Тех, кто сможет прочесть, понять, переписать заново?»

Анна, четырнадцатилетняя, не понимала. Она думала, что мать говорит метафорами — как всегда. Мать вообще любила метафоры: книги, сады, библиотеки. Только теперь, найдя серверную «Волт-Тека» в подвале библиотеки имени Толстого, Анна начала понимать: это были не метафоры.

«Зимний Сад» — протокол консервации. Не книг. Не знаний. Людей.

И первым человеком, которого мать законсервировала в этом протоколе — записала, как книгу, в цифровой код, который можно расшифровать и... что? Восстановить? Вырастить? Клонировать? — была, возможно, сама Анна.

Или Катя.

Или они обе.

VIII. Ночь в аптеке

Они развели костёр в металлическом тазу — дым уходил в вентиляционную шахту, невидимый снаружи. Анна готовила ужин: тушёнка из армейского пайка (срок годности истёк семь лет назад, но консервы в Пустоши не портились — радиация убивала бактерии эффективнее любого консерванта), разогретая на импровизированной горелке, и пресные галеты.

Катя ела молча. Анна тоже молчала. Молчание между ними было привычным — дорога приучила их к экономии слов. В Пустоши лишний звук мог привлечь внимание. Но сегодня молчание было другим — наполненным тем, что Анна узнала в хранилище, и тем, что она ещё не могла — или не хотела — рассказать дочери.

— Ты видела голограмму, — сказала Катя. Это был не вопрос.

— Да.

— Бабушка говорила обо мне.

Анна не ответила. Она смотрела на огонь — жёлтые язычки пламени, танцующие над голубым основанием горелки, — и думала, как много Катя понимает без слов. Ребёнок Пустоши — это не просто ребёнок. Это существо с обострёнными до предела чувствами, с интуицией, выработанной поколениями эволюции за какие-то десять-пятнадцать лет. Катя слышала интонации там, где взрослый слышал только речь. Она видела микродвижения, незаметные для обычного глаза. Она знала, что бабушка говорила о ней, — знала ещё до того, как Анна подтвердила.

— Она сказала — что? — спросила Катя.

— Она не закончила. Запись оборвалась.

Катя отложила галету. Посмотрела на Анну.

— Ты боишься пятой крышки. Боишься того, что она ска-

жет.

Анна встретилась с ней взглядом. Серые глаза — глаза мира, который ещё не наступил. Или, возможно, мира, который наступил слишком рано.

— Да, — сказала Анна. — Боюсь.

Катя помолчала. Потом сказала:

— Бабушка была красивая. Как ты.

Анна почувствовала, как что-то сжимается в горле. Она не заплакала — она разучилась плакать давно, в первую зиму в убежище, когда слёзы кончились, как вода в резервуарах, — но что-то сдвинулось внутри, какой-то тектонический пласт, который держался двенадцать лет.

— Она назвала меня в честь книги, — сказала Анна. — Книги, которую держал мёртвый библиотекарь. Я нашла её сегодня. Страницы рассыпались, но обложка цела.

— Ты возьмёшь её с собой?

Анна задумалась. Книга — даже пустая обложка — была лишним весом. Каждый грамм на счету, когда несёшь на

спине всё, что у тебя есть. Но она уже знала ответ.

— Да. Я возьму её.

Катя кивнула — снова по-взрослому, с тем особенным выражением, которое появлялось у неё, когда она одобряла решение матери. Анна иногда забывала, что Кате всего двенадцать. В Пустоши возраст измерялся не годами, а пройденными километрами и принятыми решениями.

Они доели в тишине. Потом Катя легла спать — быстро, как всегда, проваливаясь в сон без промежуточных стадий. Анна завидовала этой способности. У неё самой сон был долгим, мучительным процессом: она лежала часами, глядя в темноту, и мысли крутились в голове, как белка в колесе.

Сегодня мыслей было больше обычного.

Протокол «Зимний Сад». Серверная «Волт-Тека» в подвале библиотеки. Маркировка BSL-4 — биологическая опасность четвёртого уровня. Что именно хранилось на этих серверах? Не просто данные — мать говорила о консервации людей. О сохранении не книг, а «читателей». И библиотекарь, умерший двадцать лет назад с «Анной Карениной» в руках, — он тоже был частью этого? Он ждал именно её, Анну? Или он просто умер — случайно, нелепо, — но мать

использовала его смерть как ещё одну подсказку, ещё одну стрелку на карте?

Анна не знала, что думать. Но пятая крышка ждала в Убежище — в том самом, где они прожили четырнадцать лет и которое покинули шесть недель назад. Обратный путь займёт ещё три недели, если не будет бурь. И когда она вставит пятую крышку в Пип-Бой — тогда, возможно, она наконец поймёт.

Она закрыла глаза. Перед внутренним взором стояла мать — не голограмма, а настоящая, живая, какой Анна помнила её в последний год: постаревшая, с седыми прядями в тёмных волосах, с морщинами вокруг глаз, но всё с той же кривоватой улыбкой, будто она знала что-то смешное и не могла рассказать.

«Ты поймёшь. Ты поймёшь. Ты поймёшь.»

Где-то снаружи, над мёртвым городом, начинался дождь. Не водяной — кислотный, с характерным запахом серы, — но редкий, почти невесомый. Капли стучали по бетонным плитам, по ржавому металлу, по пеплу, который покрывал всё. Анна слушала этот стук и думала о том, что даже в мёртвом мире есть свой ритм. Даже у развалин есть своё дыхание.

Она заснула только под утро, когда небо начало сереть.

IX. Имя

Имён у них было три.

Первое — Анна. Мать дала его, когда Анна родилась, за двадцать два года до Катастрофы, в родильном доме № 4 города, которого больше не существовало на картах. Она дала его одна, без отца — отец был в командировке, на другом конце страны, на объекте «Волт-Тека», который позже стал Убежищем № 17. «Я назову её Анной, — сказала мать, заполняя свидетельство о рождении. — В честь книги». Медсестра удивилась, но ничего не сказала — мать умела говорить так, что вопросы отпадали сами собой.

Второе имя — мать. Анна никогда не звала мать иначе. Не «мама», не «мамочка» — только «мать». Так было принято в доме: коротко, по-деловому, без нежности. Нежность была — она проявлялась в вещах, а не в словах. В том, как мать поправляла одеяло. В том, как она оставляла лучший кусок на ужин. В том, как она работала ночами при свете керосиновой лампы — чертила схемы, писала коды, записывала голограммы, — чтобы Анна, когда вырастет, нашла дорогу.

Имя матери было Елена. Елена Сергеевна Петрова. Ве-

дущий инженер-генетик, отдел перспективных разработок, корпорация «Волт-Тек». Анна узнала эти подробности уже после смерти матери, из файлов Пип-Боя. При жизни мать не говорила о работе. Никогда.

Третье имя — Катя. Анна дала его сама — в убежище, через два года после Катастрофы, когда поняла, что беременна. Отца Кати она не знала — одна из случайных связей, которыми жители убежища пытались заглушить страх и отчаяние первых лет. Анна не искала его, не спрашивала — она просто знала, что ребёнок будет. И она знала, как назовёт её: Екатерина. В честь прабабушки, матери Елены, которую Анна никогда не видела, но о которой мать рассказывала долгими вечерами в убежище.

«Моя мама, — говорила Елена, — пережила Первую войну. Ту, что была до нас, до Волт-Тека, до всего. Она была врачом в полевом госпитале. Когда я спрашивала её, как она выдержала всё это — кровь, смерть, бесконечных раненых, — она отвечала: „Я не выдерживала. Я просто делала. Делала то, что должна. Шаг за шагом. Перевязка за перевязкой“. Это единственный способ, Аня. Не думать о всей дороге — думать только о следующем шаге».

Анна назвала дочь в честь женщины, которая жила по этому принципу. И теперь, шесть недель спустя после выхода из

убежища, она думала: сработает ли принцип для Кати? Сможет ли Катя — просто делать, шаг за шагом, — когда мир вокруг обратился в пепел?

Ответа не было. Но Катя спала, дышала, жила — и это уже было ответом.

X. Утро

Шесть недель и один день.

Рассвет был серым, как всегда. Анна проснулась от того, что Катя трясла её за плечо.

— Мам. Кто-то идёт.

Анна вскочила мгновенно — сон слетел, как сухая корка с раны. Рука сама легла на пистолет — старый ПМ, семь патронов, последняя обойма. Она прислушалась.

Шаги. Тяжёлые. Несколько человек — трое, может, четверо. Идут со стороны библиотеки.

— Собирайся, — шёпотом сказала Анна. — Быстро.

Катя уже собиралась — она натягивала ботинки ещё до

того, как Анна проснулась. Рюкзак был упакован с вечера. Горелка остыла. Никаких следов.

Анна выглянула в щель между ставнями.

Их было трое. Двое мужчин, одна женщина. Одежда — лоскуты, сшитые из разного тряпья, но на плечах — наплечники из автомобильных покрышек. Оружие: обрез охотничьего ружья, арматура с приваренными гайками, у женщины — мачете. Мародёры. Обычные для этих мест.

Они не знали об аптеке — шли мимо, что-то обсуждая вполголоса. Но они шли от библиотеки. От хранилища. От мумии библиотекаря и серверной «Волт-Тека».

Анна замерла. Если они нашли хранилище — если они поняли, что кто-то был там до них, — они начнут искать. Следы на пепле. Запах горелки. Дым.

Но мародёры прошли мимо. Их голоса удалялись, растворялись в сером утре. Анна ждала, пока последний звук не стихнет, и только потом выдохнула.

— Ушли? — спросила Катя.

— Ушли.

Они выждали ещё полчаса. Потом выбрались наружу, в серый свет, в запах пепла и кислотного дождя. Анна в последний раз оглянулась на библиотеку — красный кирпич, пустые окна, надпись «ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 4».

Там, в подвале, остался лежать библиотекарь — его уже никто не потревожит. Там осталась серверная «Волт-Тека» с маркировкой BSL-4. Там осталась книга «Анна Каренина» — точнее, её обложка, которую Анна аккуратно завернула в термо-ткань и убрала в рюкзак.

И там остался голос матери, который теперь жил в Пип-Бое — записанный, сохранённый, ждущий, когда Анна будет готова услышать продолжение.

— Куда теперь? — спросила Катя.

— В Убежище, — ответила Анна. — Домой.

Катя поправила лямки рюкзака — своего, детского, сшитого Анной из старой армейской плащ-палатки, — и кивнула.

Они пошли на север.

За их спинами вставало солнце — разбавленное, серое, но всё ещё солнце. Оно поднималось над мёртвым городом, над Пепельным кварталом, над библиотекой, над улицами, которые когда-то носили имена писателей. Лучи скользили по пеплу, по ржавчине, по руинам — бессильные что-либо согреть, но упрямые в своём ежедневном восхождении.

Анна шла и думала о матери. О её улыбке — кривоватой, знающей. О её голосе, записанном на голограмму двадцать лет назад. О том, что она сказала: «Ты поймёшь».

Анна ещё не понимала. Но она знала: четвёртая крышка найдена. Четыре из пяти. Осталась одна.

И за ней — дорога домой. В Убежище. К началу. Или к концу.

Пепел хрустел под ногами. Катя шла рядом — молча, как всегда, но её присутствие было единственным, что удерживало Анну на этом свете, в этом мире, на этой дороге.

Впереди лежал четвёртый сектор — пройденный, но не отпускающий.

Впереди лежал пятый.

Впереди лежала зима — долгая зима, которую кто-то должен пережить.

Сектор 9. Ржавый мост

I. Мост, который не кончался

Одиннадцатая неделя. Или двенадцатая — Анна перестала считать после того, как они покинули Убежище во второй раз.

Мост возник из серой пелены неожиданно — как возникают в Пустоши все крупные объекты: сначала ты видишь сгущение воздуха, дрожание горизонта, затем проступают контуры, и вдруг — вот оно. Гигантское. Мёртвое. Прекрасное в своей инженерной обречённости.

Автомобильный мост через Волгу.

Река под ним высохла шесть или семь лет назад. Анна помнила тот год — третий или четвёртый после Катастрофы, — когда вода в убежище начала убывать быстрее обычного, и мать сказала: «Волга мелеет. Они взорвали плотину выше по течению, и русло уходит в карстовые пустоты. Через пять лет реки не будет». Она оказалась права — как и почти во всём. Теперь под мостом простиралось каменистое

ложе, усеянное остовами кораблей: прогулочные катера, баржи, даже один военный катер с проржавевшей пулемётной турелью. Они лежали на боку, как дохлые киты, вросшие в соль и ил.

Мост держался. Он был построен ещё в прошлом веке — стальные фермы, клёпаные соединения, семь пролётов по двести метров каждый, — и пережил всё: ударную волну, кислотные дожди, мародёров, время. Ржавчина покрывала его, как лишайник покрывает старые деревья, — слоями, оттенками, с хирургической тщательностью. Анна видела: мост был ещё прочен. И мост был обитаем.

Они подошли к восточному въезду, когда солнце стояло в зените — размытое пятно в серой мгле, дающее света ровно столько, чтобы отбрасывать тени. Тени сегодня были длинными, неестественно вытянутыми — оптический эффект аэрозольного экрана, мать объясняла его когда-то: «Свет преломляется в частицах пепла, Аня. Поэтому тени кажутся длиннее, чем должны быть. И люди в них — тоже».

— Мы не пойдём через мост, — сказала Катя.

Анна остановилась. Катя редко говорила такое — прямым, утвердительным тоном, без вопросительной интонации. Обычно она спрашивала: «Мы пойдём туда?» или «Мы

останемся здесь?» Но сейчас она не спрашивала. Она утверждала. И Анна знала: когда Катя говорит так — это не каприз. Это интуиция, которую девочка выработала за годы жизни в Пустоши, — звериное чутьё, позволявшее ей чувствовать опасность раньше, чем её замечали взрослые.

— Почему? — спросила Анна, хотя уже знала ответ.

— Там люди. Плохие люди. Они ждут.

Анна посмотрела на мост. С такого расстояния — около полукилометра — он казался безлюдным. Но Катя была права: на западном конце моста, там, где фермы опирались на береговой устой, виднелось что-то вроде баррикады. Нагромождение ржавых автомобилей, куски бетонных плит, спутанная колючая проволока. Лагерь. Или блокпост. Или логово.

— У нас нет выбора, — сказала Анна. — Обход займёт четыре дня. У нас нет воды на четыре дня. И патронов — тоже.

Катя помолчала. Потом кивнула — по-взрослому, тем самым движением, которое всегда напоминало Анне мать. Елену. И от этого сходства — не внешнего, а жестового, мимического — у Анны сжималось сердце.

Они двинулись к мосту.

II. Структура ожидания

Восемь лет назад. Убежище № 17. Учебный класс.

Мать писала на доске — мелом, потому что маркеры кончились ещё в первый год, а проектор берегли для важных лекций. Она чертила схему: кружки, линии, стрелки. Анна сидела в первом ряду — ей было двадцать два, но она всё ещё ходила на лекции матери, потому что в убежище больше некому было учить, а мать больше некому было учиться.

«Система распределённого ожидания, — писала Елена. — Принцип таков: ты размещаешь активы — назовём их ключами — в нескольких точках, географически и хронологически удалённых друг от друга. Точки не равноценны. Каждая требует своего подхода. Твой путь через них — это не прямая, а спираль: ты возвращаешься к одной и той же проблеме на разных уровнях понимания.»

Анна подняла руку:

— Зачем усложнять? Почему не оставить все ключи в одном месте?

Елена повернулась от доски. Мел крошился в её пальцах.

— Потому что одно место — это одна точка отказа. Ты теряешь его — теряешь всё. А если ключи разнесены, ты можешь потерять несколько и всё равно дойти. Важно не дойти быстро. Важно дойти вообще.

Она помолчала, глядя на доску, потом добавила тише — так, что Анна едва расслышала:

— Кроме того, путь меняет идущего. Если бы ты получила все ответы сразу — ты бы не смогла их принять.

Анна тогда не поняла. Теперь, стоя перед Ржавым мостом, она понимала.

Путь меняет идущего. Пятая крышка — последняя — была не просто ключом. Она была финальной точкой спирали. И мать, размещая её здесь, на мосту, которым владели рейдеры, знала: Анна придёт сюда другой. Анна придёт сюда с Катей. И то, что в начале пути показалось бы ей невыполнимым — торг с вооружёнными бандитами за жизнь собственного ребёнка, — теперь было просто задачей. Уравнением с известными переменными.

Она надеялась, что решит его правильно.

III. Кремень

Мост встретил их тишиной — той особой, звонкой тишиной, которая бывает только в местах, где недавно кто-то умер. Ветер свистел в пролётах, тросы стонали под собственной тяжестью, где-то далеко внизу хрустела осыпающаяся соль. Но человеческих звуков не было. Это было неправильно.

Анна знала эту тишину. Она означала, что за ними наблюдают.

Они прошли первый пролёт. Второй. На третьем, ровно посередине моста, их ждали.

Их было пятеро: четверо мужчин и одна женщина. Анна насчитала их мгновенно — профессиональная привычка, выработанная в убежище, где мать учила её: «Оценивай за две секунды. Количество, вооружение, дистанция, укрытия. Третья секунда — уже поздно».

Вооружение: два автомата Калашникова (АКС-74У, судя по длине ствола, — скорее всего, без патронов или с минимальным боезапасом), обрез двустволки, мачете и арбалет.

Арбалет был самым опасным — бесшумный, с оптическим прицелом, явно довоенной сборки. Женщина держала его свободно, как вещь привычную. Анна оценила углы обстрела: мост простреливался насквозь, укрытий не было, кроме ржавых пилонов, но до пилонов — десять метров открытого пространства. Плохо.

Главарь вышел вперёд. Он сделал это не сразу — выдержал паузу, длинную, театральную, — и Анна поняла: он наслаждается моментом. Это был человек, который редко получает удовольствие и умеет его растягивать.

Он был высок — Анна мысленно прикинула: метр девяносто, может, метр девяносто пять, — но высок не природной статью, а какой-то неестественной вытянутостью, словно его тело растянули на дыбе. Кожа туго обтягивала череп, обнажая рельеф костей, — скулы, надбровные дуги, челюстные углы выступали так резко, что лицо казалось геометрической схемой. Глаза — светлые, почти бесцветные, как у варёной рыбы, — смотрели из глубоких глазниц с тем выражением, которое Анна видела раньше только у старых гулей: не злоба, не голод, а спокойный, почти философский интерес к происходящему. Будто он уже знал, чем всё кончится, и ждал только подтверждения.

Он был лыс. Череп его покрывала сеть старых шрамов —

не боевых, а ритуальных: тонкие параллельные линии, расходящиеся ото лба к затылку. Такие шрамы Анна видела на архивных снимках из Африки — scarification, племенные насечки, обозначающие статус. Только этот человек не был африканцем. Он был европеоидом, русским, вероятно — ровесником Анны или чуть старше. Но шрамы на его голове выглядели так, будто он нанёс их себе сам — аккуратно, методично, глядя в зеркало.

— Кремень, — сказал он, и голос его оказался неожиданно высоким, почти женским, — диссонанс с внешностью, который сбивал с толку. — Меня зовут Кремень. Мост — мой.

Он говорил без угрозы — констатировал факт, как констатируют погоду или время суток. «Мост — мой», — и в этих словах было столько же сомнения, сколько в утверждении «солнце встаёт на востоке».

— Анна, — ответила она. — Мы просто проходим.

— Никто не проходит просто. — Кремень улыбнулся. Зубов у него не хватало — трёх передних, верхних, — и от этого улыбка выглядела не угрожающей, а смущённой, почти детской. — Либо ты платишь, либо ты остаёшься. Либо и то и другое.

Он посмотрел на Катю. Взгляд его скользнул по девочке — по её рюкзаку, сшитому из плащ-палатки, по её серым глазам, по её неподвижному лицу, — и Анна увидела то, чего боялась увидеть больше всего. Не похоть. Не голод. Оценку. Так оценщик в ломбарде смотрит на вещь, прикидывая её стоимость.

— Девчонку, — сказал Кремень, и голос его не изменился ни на тон: тот же ровный, спокойный регистр. — И крышка твоя.

Анна не вздрогнула. Она ждала этого. Она готовилась к этому — все одиннадцать недель пути, с того самого момента, как они вышли из убежища. Мир был прост: в нём не было ничего ценнее антирадина, патронов и детей. Дети были валютой — самой редкой, потому что новых почти не рождалось. Пустошь стерилизовала людей, и те, кто мог иметь детей, были богаче тех, у кого были патроны.

Но Катя — Катя была больше, чем ребёнок. Анна знала это. Возможно, Кремень тоже догадывался. Возможно, именно поэтому он хотел её.

— У меня антирадин, — сказала Анна. Она не тянула паузу — Кремень был не тем человеком, с которым работает театр. — Военная доза. Две тысячи семьдесят шестой, «Мед-

Атом». Хватит на троих.

Она достала флакон — медленно, чтобы никто не дёрнулся, — и показала его. Стекло, затемнённое до коричневого, герметичная пробка, заводская маркировка. «Мед-Атом» был легендой Пустоши — довоенный препарат, способный выводить радионуклиды из организма на клеточном уровне. Его не производили уже пятнадцать лет. Одной дозы хватало, чтобы спасти человека с третьей стадией лучевой болезни. Трёх доз хватило бы, чтобы Кремень и его люди могли жить на мосту ещё год, не боясь радиационной пыли с восточных секторов.

Кремень смотрел на флакон. Анна видела, как работают его мысли, — не по лицу (лицо его было неподвижно, как гипсовая маска), а по микро движениям пальцев. Он постукивал ногтем по прикладу автомата — тик-тик-тик, — и этот ритм участился, когда она показала антирадин. Значит, думает. Значит, колеблется.

— Покажи, — сказал он.

Анна покачала головой:

— Сначала крышка.

— Ты не в том положении, чтобы ставить условия.

— Мы оба не в том положении, — сказала Анна. — У тебя мост. У меня — то, что тебе нужно. Это равноценный обмен.

Кремень замолчал. Тик-тик-тик. Солнце опускалось — Анна видела это боковым зрением, — и тени удлинялись, ползли по ржавым фермам, по бетонным плитам, по лицам людей Кремня. До заката оставался час. После заката мост переходил к другим хозяевам. Кремень знал это. Анна тоже.

IV. Ночные хозяева

Десять лет назад. Первая вылазка.

Мать взяла её на поверхность через пять лет после Катастрофы. Анне было девятнадцать. Они вышли ночью — Елена сказала: «Ночью безопаснее. Днём радиация, ночью — только гули». Анна тогда не понимала, как гули могут быть менее опасны, чем радиация. Она поняла позже, когда впервые увидела их.

Гули — это не просто мутанты. Это люди, прожившие так долго в условиях радиации, что их тела адаптировались. Кожа стала серой, мышцы атрофировались, суставы деформировались. Но мозг — мозг работал. Иногда слишком хоро-

шо. Гули помнили прошлую жизнь — некоторые помнили её слишком ярко, до мельчайших деталей, до запаха свежего хлеба и цвета обоев в детской, — и это воспоминание сводило их с ума. Они ненавидели здоровых людей не из голода (хотя человеческое мясо было частью их рациона), а из зависти. Зависти к тем, кто ещё мог забыть.

«Они не выходят днём, — сказала мать, когда они крались через развалины торгового центра. — Ультрафиолет вызывает у них некроз сетчатки. Но ночью — ночью это их мир. И они охраняют свои границы. Видишь тот мост?»

Анна видела. На севере, километрах в трёх, темнел силуэт автомобильного моста. Он был подсвечен луной — редкое явление в ту эпоху, облака на несколько часов расступились, — и выглядел почти красиво.

«Автомобильный мост через Волгу. На нём живёт самая большая колония гулей в этом секторе. Несколько сотен особей. Они контролируют переправу — все, кто хочет перейти реку, платят дань мясом. Иногда — живым. Но у них есть правило: они не охотятся днём. И не выходят на свет.»

«Почему?» — спросила Анна.

«Потому что у них есть культура. Не такая, как у нас, —

другая, извращённая, но культура. Иерархия. Законы. Они называют себя Хранителями Моста. И они помнят, что когда-то были людьми.»

Анна запомнила это. Она запомнила всё, что мать рассказывала о гулях, — потому что знала: однажды эти знания спасут ей жизнь. Однажды наступит.

V. Тактика ожидания

Кремень всё ещё колебался. Анна видела это по ритму пальцев — тик-тик-тик. Она могла бы ждать. Она умела ждать — одиннадцать недель пути научили её терпению, которое граничило с бесчувствием. Но время работало против неё.

Солнце опускалось. Тени превратились в длинные чёрные ленты, которые ветер трепал, как флаги. Между третьим и четвёртым пролётом Анна заметила движение — едва уловимое, на границе периферийного зрения. Что-то серое. Что-то быстрое. Гуль. Они начинали просыпаться.

Кремень тоже это заметил. Тик-тик-тик прекратилось.

— Ладно, — сказал он. — Антирадин. Проверю — получишь свою крышку.

— Сначала крышка, — повторила Анна. — Антирадин — после.

— Ты думаешь, я тебя обману?

— Ты думаешь, я тебя обману?

Они смотрели друг на друга. Ветер трепал ржавую пыль. Где-то внизу, в русле высохшей реки, скрипнул остов баржи.

Анна сделала шаг в сторону. Медленный. Небрежный. Будто разминала затёкшие ноги. И на этом шаге — движением, которое она репетировала мысленно последние пять минут, — она разжала пальцы.

Флакон выскользнул. Упал на бетон. Покатился.

Время замерло.

Анна видела, как флакон катится по плите — медленно, почти лениво, подпрыгивая на трещинах асфальта. Она видела его траекторию: прямая, чуть правее, прямо к расширительному шву между двумя плитами моста. Шов был широким — сантиметров десять, — и в нём темнела пустота. Тридцать метров до дна. Если флакон упадёт туда — он разо-

бьётся. И антирадин исчезнет.

Кремень дёрнулся. Инстинктивно. Так дёргается человек, который роняет последнюю сигарету или последнюю спичку, — всем телом, забыв о позе, о контексте, обо всём. Его рука метнулась к флакону, и на этом движении — на одной только секунде, которую он потратил на инстинкт, — Анна увидела то, что ей было нужно.

Он боялся.

Не людей. Не гулей. Не голода. Он боялся радиации — больше смерти, больше боли, больше всего на свете. Его лысый череп с ритуальными шрамами, его вытянутое тело, его странный высокий голос — всё это было результатом облучения. Анна поняла это только сейчас: Кремень был не просто рейдером, живущим на мосту. Он был человеком, который пережил тяжёлую лучевую болезнь и чудом остался жив. Его тело было ходячей картой радиационных мутаций — каждая клетка, каждый шрам, каждая аномалия. И он боялся, что это вернётся. Что болезнь начнётся снова. Что он умрёт — не в бою, не от пули, а медленно, изнутри, как умирали тысячи в первые годы после Катастрофы.

Антирадин был для него единственным спасением. Не разменной монетой. Не товаром. Спасением.

Анна использовала эту секунду. Она не дралась — ловкость была её главным S.P.E.C.I.A.L., но драка с пятью рейдерами на открытом мосту была бы самоубийством. Вместо этого она заговорила:

— Он упадёт. — Голос её был ровным, будничным, словно она комментировала погоду. — И ты останешься ни с чем. Крышку — мне. Антирадин — тебе.

Флакон подкатился к краю шва. Замер. Качнулся. Остановился.

Кремень смотрел на него. Его люди смотрели на Кремня. Женщина с арбалетом перевела прицел на флакон — потом на Анну — потом снова на флакон. Иерархия в банде Кремня была шаткой — Анна видела это по тому, как они двигались, как переглядывались. Если Кремень потеряет антирадин из-за собственной нерешительности — его авторитет рухнет. И он знал это.

Закат окрасил мост в цвет запёкшейся крови. Солнце садилось быстро — в этих широтах сумерки были короткими, особенно зимой. Ещё пятнадцать минут — и мост проснётся. Гули начнут выползать из своих нор под опорами, из ржавых катеров, из трещин в бетоне. Они будут голодны. И плата,

которую они потребуют с Кремня за право контролировать мост днём, может оказаться выше, чем он готов заплатить.

— Давай, — сказал Кремень.

Он вытащил крышку из кармана — та была пришита к внутренней стороне его куртки, Анна заметила нитки, — и бросил её на бетон между ними.

Крышка покатилась по металлической плите. Она звенела, как монета: тинь-тинь-тинь, — и этот звук был самым прекрасным из всех, что Анна слышала за последние одиннадцать недель.

Она поймала крышку носком ботинка. Прижала. Нагнулась, подобрала — медленно, не сводя глаз с женщины с арбалетом.

Пятая. Последняя.

Металл был холодным. Гравировка на обратной стороне: «VT-KL-S9». «Волт-Тек». Ключ-Локатор. Сектор 9.

Анна спрятала крышку в нагрудный карман — подальше от Кати, поближе к сердцу.

VI. Секунды

Флакон всё ещё лежал на краю шва. Кремень сделал шаг к нему — осторожный, как ходят по тонкому льду. Его пальцы сомкнулись на стекле, и Анна увидела, как дрожат его руки. Крупная дрожь — не от холода, не от страха. От облегчения.

— Уходите, — сказал он, не глядя на них. — Быстро. Пока я не передумал.

Анна не заставила просить дважды. Она взяла Катю за руку — та была ледяной, несмотря на перчатки, — и они пошли к западному концу моста. Шаг. Ещё шаг. Бетон под ногами, ржавые перила слева, пустота справа.

Сзади послышалось движение. Анна не обернулась — она знала, что люди Кремня расходятся, готовясь к ночи. Сейчас они запрут баррикаду, расставят ловушки, зажгут костры по периметру. Гули боялись огня. Или не боялись, но обходили — это работало одинаково.

Они прошли четвёртый пролёт. Пятый. Шестой.

На седьмом Анна остановилась. Она достала Пип-Бой — тот самый, с треснутым экраном, — и вставила пятую крышку в разъём.

Щелчок.

Экран мигнул. Загрузка пошла автоматически — Пип-Бой распознал пятую крышку как финальный ключ и запустил протокол дешифровки. Строки кода. Файлы, заблокированные почти двадцать лет. Текст, который мать спрятала от «Волт-Тека», от правительства, от всех, — и оставила только ей.

Анна смотрела, как на экране появляются первые расшифрованные строки.

«ПРОТОКОЛ: ЗИМНИЙ САД. УРОВЕНЬ ДОПУСКА: 0. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ.»

И ниже:

«СУБЪЕКТ 1: ПЕТРОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА. СТАТУС: АКТИВЕН. СУБЪЕКТ 2: ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА...»

Анна выключила экран. Не здесь. Не сейчас. Она прочитает это позже — когда они будут в безопасности, когда Катя уснёт, когда вокруг никого не будет.

Она посмотрела на запад. Там, в километре от моста, на-

чинались развалины старого нефтеперерабатывающего завода — лабиринт из ржавых цистерн и обрушенных эстакад, где можно спрятаться на ночь. Дойти бы до темноты.

— Идём, — сказала она Кате.

И они пошли — быстрее, чем прежде, почти бегом, оставляя мост за спиной.

Катя не обернулась ни разу.

VII. Глазами Кати

Она запомнила этот день навсегда — хотя никому и никогда о нём не расскажет.

Мать говорила с лысым. Лысый смотрел на Катю, и Катя знала этот взгляд. Так смотрели на неё в убежище. Так смотрели мародёры в третьем секторе. Так смотрел бы кот на мышь, если бы коты могли торговать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.